

Владимир Гиляровский

Под «Веселой козой»



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008

ISBN: 978-5-699-11515-0

FB2: "shum29" <au.shum@gmail.com>, 15.11.2008, version 1.0

UUID: b3db0d76-04a3-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Под «Веселой козой»
(Друзья и встречи)

«В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на нижегородской ярмарке.

– Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь...»

Владимир Гиляровский

Под «Веселой козой»

В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на нижегородской ярмарке.

– Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь.

– Вот и вы приехали! – покровительственно треплет меня по плечу. – Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке?

– А вы тоже артист? – спрашиваю.

– Как же! Мы с девицами приехали. Целый вагон привез, и в заведения и на «Самокаты».

«Самокаты» я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний.

Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Н. М. Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны.

Весной 1874 года, после того как я вырвался с белильного Сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы я очутился на палубе самолетского парохода, бе-

жавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку.

О пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда – «бежит». Никто из пассажиров-волгарей не скажет: «Я плыл, я ехал...» – Нет! Обязательно скажут так:

– Туда мы побежали на «Самолете», а оттуда я прибежал на «Дружине».

И действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плечами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что он именно бежит...

Итак, я побежал на изящном розовом пароходике общества «Самолет», с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные медные трубы. Это означало, что пароход почтовый.

А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижансов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу

неистово дудели: «Берегись, мол, почта идет!»

Не едет. Нет, а идет... Почта пришла... Почта отходит в семь утра...

Вот и побежал я на «Самолете», запасшись краюхой ситного, воблой, выправив билет третьего класса.

Тогда билеты не покупали, а «выправляли».

Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходит к кассе на пристани, платит деньги, получает билет, и только. Может быть, это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов? Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу – надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить».

Сижу я на корме на круге якорного каната. Любуюсь красавцем-городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени. Творицами за Волгой... Вон там те же самые скаты бревен, где я три года назад, придя пешком из Вологды, увидел бурлаков Малафеевской расшивы,

груженной хлебом. Тут меня и наняли на путину до Рыбны, и пошли мы в этот кабак за водкой, а потом на базар за лаптями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стояла расшива.

Ночевали мы на сыром песке, а на заре я, в новых лаптях, впрягся в лямку и зашагал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера уже под самым Ярославлем упал в лямке и тут же умер, на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках.

Чуть не четверть ватаги за путину перемирало. Холерица семьдесят первого года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ.

Посмотрел я на наш завод на высоком берегу: грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его «бурлацкое кладбище», потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали.

– Чу! Труба и колокольчики...

Над нами по набережной пролетела куда-то пожарная команда... Я узнал высокого старика брандмейстера.

О, сколько пережито за три года! И атаман Репка и Костыга, как живые, перед глазами. И порка розгами солдата Орлова... И кулачные бои... А в ушах звенит голос нашего запевалы бурлацкого, его песня о пуделе, которой я после никогда не слышал:

Белый пудель шаговит, шаговит...

...

Черный пудель шаговит, шаговит...

Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры... «Рвань коричневая», то слезливая, забитая, то «удалы добры молодцы» – непокорные, которым удержу нет.

«Зимогоры» – верхне-волжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе.

И я – недавний зимогор, вырвавшийся на волю... Да еще с билетом на почтовом пароходе «Удалой», тогда одним из самых резвых на верхнем плесе.

Второй свисток прогудел над головой и выбросил в воздух один за другим два снежных облачка пара. Сквозным серебром забелели они на голубом небе, расплылись прозрачным кружевом и бесследно растаяли...

А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовался к своей такой же сероватой пристани, с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал надпись «Велизарий».

– Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет, – громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской, с белым верхом, фуражке.

– Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, – ответил кто-то невидимо для меня.

И тут же три свистка и три облачка белого пара закружились на лазури и медленно растаяли над нами, когда «Удалой», повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлив-

шей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз.

И «Велизарий» выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука.

Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над «чумовым Тихомировым». Ехавшие на «Удалом» из Рыбинска удивлялись задержке там «Велизария», который должен был бы по расписанию выйти через десять минут после нас.

Кругом шли разговоры о Тихомирове. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет «капитанить» и устраивать бешеную гонку с «Самолетом». И так всю навигацию – кроме месяца нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан-старик из лоцманов, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке вплоть до закрытия ее безвыходно кутит по всем притонам, до «Самокатов» включительно.

Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе...

Еще рано утром я бросил мою рвань на ба-

заре и переоделся во все новое: синяя рубаша в полоску, короткая суконная поддевка, сапоги гармонией и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк – всеми любимая тема для разговоров, которой я и пользовался в случае нужды.

Так я решил поступать и впредь. Переодевшись в лавчонке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку».

Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне идти на Волгу и промыть волосы.

Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла.

Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик,

на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода и что еще сегодня утром был зимогор.

Быстро бежал «Удалой». Сзади чуть-чуть слышались три свистка: «Велизарий» отваливал. Едва ли скоро догонит.

Увидав, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты.

Выползли из душного кубрика два матроса и, сев рядом со мной, принялись колотить воблу о перила.

– Собачий барин остановки требует! – указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины.

Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами.

– Это Собачий барин? – спросил я.

– Он самый.

И вспомнились рассказы старых бурлаков

Костыги и Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, когда бывалый бурлак Суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бивальщинами да сказками, не раз упоминал Собачьего барина.

– На этом самом месте, – говорил он, – с испокон века бурлацкая перемена, а потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу, она и сейчас цела пониже Ярославля – белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве, дворня огромная, собак уйма: охотиться гости из Питера прибывали – все важные бары. Не понравилось барину, что его бурлаки беспокоят тем, что ночуют на берегу, что кашу варят, песни поют и барынь своим видом пугают. И начал он наши ватаги собаками травить на ходу, а ежели на перемену остановятся, то ночью на нас, на сонных, налетали охотники верховые и арапниками пороли. Так года два зверовал барин да на Репку и наткнулся. А Репкина ватага – так бурлачков полсотни – всегда богатырь к богатырю была подобрана. Затеял барин потеху, сам с пьяными гостями

высыпал, напустил на бурлачков своих охотников, а Репка ждал. Ну и отчихвостили наши ребята господишек и их холуев по-бурлацки. На Репку наскочил сам барин с арапником. Схватились они врукопашную, на чертолом облапились, – картинно рассказывал Суслик эту бывальщину и заканчивал: – Барин помер. Стройка дворовая сторела, только дом остался, бурлаки перевелись, а место и по сею пору зовут Собачий барин.

Да, бурлаки перевелись, и шахма по берегу Волги тальником заросла, а Волга оживала с каждым днем. Навстречу нам попались три парохода, тащившие баржи с хлебом: «Самсон», «Громобой» и «Бурлак», да один еще почтовый самолетский, такой же, как наш, светло-розовый, с красным поясом на черной трубе и золотой надписью над колесами – «Легкий».

Приняли пассажиров: какого-то мужичка да офеню с лубяным коробом. Последний, как влез, короб открыл и начал торговать бусами, гребенками, платочками и разными мелочами-колечками, крестиками и книжками. Тут были и «Еруслан Лазаревич», и «Прекрасная

магометанка, умирающая на гробе своего мужа», и «Епанча, татарский наездник». Эти расценивались по три копейки, а две толстые – «Гуак или непреборимая верность» и «Английский милорд» – подороже. Купил и я «Гуака», карандаш и записную книжку в зеленом сафьяне.

Яркое солнышко, тишина. Только белые плицы лениво хлопают по воде да наш пароход обменивается свистками со встречными.

Пассажиры расположились на скамейках, книжки читают.

Когда мы отваливали от Бабаек, захватив пассажиров, вдали показался «Велизарий», но было уже поздно. Мы не видели, как он заворачивал к пристани.

Матросы съели воблу. Уж и Кострома близко.

– Полный ход! – раздалась вдруг капитанская команда.

Плицы захлопали чаще.

– «Вылезарий» вылезает! – засмеялся матрос.

Из-за острова показался дым, а затем флаг и труба «Велизария».

– Пущай его! Мы бы уже в Костроме были, да у Собачьего барина задержались.

В Костроме пароход стоял долго. Я отправился смотреть город. На набережной залюбовался ярко освещенной солнцем рекой и заволжской далью и сел на скамейку, где два молодых человека с черными усиками, разговаривавшие по-итальянски, громко восторгались Волгой.

– Ну что, синьоры, и вам наша Волга нравится? – обратился я к ним на французском языке, которым недурно владел благодаря своей мачехе – в ее семье иначе между собой как по-французски не говорили.

Разговорились. Это были итальянцы Э. Ф. Лукачини и М. О. Ломбарде, впоследствии владельцы известного ювелирного магазина в Москве, в пассаже Солодовникова.

– Что вы здесь делаете? – спросили они меня.

– Да ровно ничего. Сошел с парохода, затем поеду дальше, на низовья, работы искать, – и я рассказал им какую-то полуправду.

– Не хотите ли поработать у нас? Нам нужен простой рабочий на время ярмарки.

Они приехали на летнюю ярмарку в Кострому с мраморными вазами, статуэтками и разными итальянскими безделушками.

– Идите на пароход. Берите ваш багаж.

– Пусть уж багаж останется. Там только хлеб да вобла.

– Вобла? – с удивленным видом переспросил Ломбарде. – Что это такое?

Я объяснил. И в тот же день я уже раскупоривал ящики, помогал раскладывать товар в деревянном балагане на площади, а потом всю ярмарку днем был за приказчика и ночевал в балагане за сторожа.

По окончании ярмарки я уложил товар, свез на пароход и сдал в Нижний.

Нам было жалко расставаться, так мы свыклись и подружились. В конце концов итальянцы пригласили меня с собой на ярмарку в Нижний.

Когда я приехал, нижегородская ярмарка еще не была открыта, свозились, распаковывались и раскладывались товары под Главным домом, где Ломбарде и Лукачини сняли магазинчик в пристройке, направо от входа со стороны флага. Напротив нас был магазин

швейных машин Блока, того самого, который имел впоследствии в Москве на Мясницкой огромный магазин весов «Фербенкс», велосипедов и пишущих машин.

Сейчас я не помню, чьи магазины были кругом. Только одна вывеска, наискосок от нас, в начале галереи с галантереей, привлекла мое внимание. На синем фоне золотыми буквами ярко горели слова «Рошфор и Емельянов». Я знал, что Рошфор – французский революционер и маленькие тетрадки его журнала «Intransigeant» лежали вместе с номерами «Колокола» в ящике письменного стола ссыльного студента Саши Разнатовского, моего дяди по мачехе, в комнате которого я жил вместе с ним.

Конечно, слово «Рошфор» меня заинтересовало. Оказалось, это были московские купцы с Таганки, торговавшие в Ножовой линии. При них в лавке находился сын Емельянова, беловолосый малый лет семнадцати, с круглым, заплывшим жиром розовым лицом и толстыми губами, которые то и дело носили на себе следы какого-нибудь варенья. На ярмарке он сидел почти все время на табуретке

перед магазинчиком и обязательно что-нибудь жевал: то халву и разные сласти из греческой лавочки рядом с нами, то пирожное из кондитерской Мишель, при выходе из Главного дома; за пирожным Лупетка – так его прозвали соседние приказчики за толстомордие – бегал то и дело.

Помощи в торговле от него, кажется, не было никакой, и он был взят сюда отцом, чтобы присматривался к делу.

Вместе с отцом оба они, в поддевках, в высоких сапогах и в картузах, обедать ходили в харчевню. Да и самые что ни на есть богачи питались обычно на ярмарке не лучше их, преимущественно всухомятку, покупая всякую снедь у разносчиков. Чай пили все из медных чайников; кипяток приносился из трактира. Так жили на ярмарке миллионеры старого типа, дети которых развернулись всю через четверть века, чтобы на всероссийской выставке сверкнуть на весь мир своей чрезмерной роскошью.

А тогда приезжали деды и отцы со своих фабрик на ярмарку в вагонах третьего класса, в буфеты на станциях не ходили, а вынимали

из дорожного мешка ситцевый платок, в котором лежали хлеб, соль, яйца, обязательно каленые (дольше не портятся), и тут же в вагоне пили чай из своих чайников.

– Станция Петушки – горячие пирожки! – объявлял по вагонам кондуктор, получавший за рекламу о пирожках от буфетчика угощение. Иногда ему удавалось соблазнить какого-нибудь таганского или рогожского миллионера, и тот раскошеливался на пятиалтынный и посылал приказчика купить тройку пирожков.

– Да ты, малый, гляди, чтоб горячие были! – напутствовал его «сам».

Копеечничали, жульничали, в еде себе отказывали, скопидомствовали и старались надуть, всякий по своей специальности: где обмерить, где обвесить, где рабочего штрафом донять – только бы нажать лишнюю копейку!

Они копили капиталы своим наследникам, а наследники из ярмарочных трактиров не выходили: проводили время с певичками, били зеркала.

Да и сами старики загуливали иногда.

– А где сам? – спросил однажды покупатель у доверенного в амбаре. – Третий день из Барботенкова трактира не выходит.

– Значит, вожжа под хвост попала?

– Есть грех. Да извольте приказать, без него в лучшем виде вам все отпустим.

Вернулся хозяин дня через три туча тучей. Доверенный отдал отчет и деньги. Доложили о совершенных им сделках, а «сам», хоть и с похмелья, а сразу увидал, что его надули. Увидал, а молчит. А потом уже не вытерпит:

– Ну ж и Петра Кириллова ты мне заправил, Федотыч!

– Помилуйте, Митрофан Саввич, нешто я смею?

– Ладно уж, помалкивай. Самой, гляди, не проболтайся. Сюды она собирается, боится, как бы я не загулял под «Веселой козой». Так и пишет.

«Веселой козой» называли нижегородский герб: красный олень с закинутыми за спину рогами и как-то весело приподнятой передней ногой. Местные живописцы рисовали оленя по-разному, и везде он вызывал улыбку у зрителя:

– Ве-е-селяя коза!

Для купеческого загула здесь существовали по трактирам закабаленные содержательницами хоров певички и были шикарные публичные дома, в которые то и дело привозили новых и новых рабынь торговцы живым товаром, а отбросы из этих домов шли на «Самокаты».

«Самокаты» – это гнезда такого разврата, какой едва ли мог существовать когда-нибудь и где-нибудь, кроме нижегородской ярмарки.

И место для них было выбрано самое подходящее, отделенное от ярмарки двумя глубокими каналами. Один впадал в Мещерское озеро, к берегу которого примыкали «Самокаты», а другой граничил с банным пустырем. Только двумя мостиками и узкой лавой для пешеходов отделялось оно от азиатского квартала ярмарки, а четвертая его сторона уходила в болото, поросшее тальником и бурьяном в рост человека. Официально это место называлось Самокатская площадь и было предназначено для народных гуляний, но редко трезвый решался сунуться в это волчье логово, всегда буйное, пьяное. Зато вся уго-

ловщина, сбегавшаяся отовсюду на ярмарку, чувствовала себя здесь как дома. Попадали туда (на «Самокаты» не шли, не ездили, туда именно попадали) и рабочие-водники со всех соседних пристаней и складов на берегу Волги, где был для них и ночлежный дом. Туда безбоязненно входил всякий, потому что полицейского надзора не существовало во всем этом обширном районе водников, как и на всем Самокатном полуострове.

Площадь с балаганами и каруселями («Самокаты») была окружена рядом каменных и деревянных, почти сплошь одноэтажных, строений, предназначенных специально под трактиры и притоны. Все они были на один манер, только одно богаче, другое беднее, одно обширнее, другое меньше. Половину здания занимал трактир, остальную часть – номера. И все они звались «Самокатами». «Самокат» Милютина был самый огромный, окруженный с трех сторон широкой террасой. Двери номеров выходили прямо на нее. Юридически, по закону, трактир от номеров должен был быть отделен; фактически, за взятки, то и другое сливалось в одно целое. Одно

без другого существовать не могло, одно являлось продолжением другого. Номера населены были женщинами, находившимися в кабале у хозяев. Эти белые рабыни – самые несчастные существа в мире.

По обязательному постановлению в гостиницах на видных местах должны были висеть доски с именами съемщиц квартир. Это соблюдалось строго. Приведу для примера одну такую доску: «№ 1 – Ягориха. № 2 – Фекла. № 3 – Самовариха. № 4 – Гехма. № 5 – Анна. № 6 – Безноса. № 7 – Мадамиха».

За каждой Ягорихой и Мадамихой числилось несколько рабынь, закабаленных ими. У этих имена были выдуманные, да ни один гость, и никто вообще по имени их и не называл никогда... Вот они-то и помещались в этих номерах, которые назывались «кузницами».

За каждый такой номер платилось от сорока до шестидесяти рублей за ярмарку. Комнатки были разгорожены сквозными перегородками, а кроме того, кровать от кровати отделялась короткой ситцевой занавеской.

Время на «Самокатах» проводилось так. С

утра женщины слонялись по площади и по трактирам, растрепанные, изможденные, полупьяные, зазывали в свои «кузницы» проходящих или просто выпрашивали у них на помелье. После полудня в балаганах начинались представления. Карусели крутились, заливались гармошки, с шести вечера шел полный разгул. С этого часа «девицы» безвыходно до утра пребывали в своих «кузницах», двери которых отворялись только для того, чтобы выпустить одного гостя и впустить на смену ему другого, уже дожидавшегося очереди за дверью... Террасы были обычно переполнены этими «жаждущими любви». Они сидели, пьяные, на скамейках вдоль стены в ожидании своей очереди, дремали, переругивались... Но чуть только где-либо начинался шум, скандал, тотчас же появлялось двое или трое здоровенных вышибал, саженных малых зловещего вида, и после двух-трех затрепчин все смолкало, а виновники шума вытаскивались в задние двери и выкидывались в крапиву на пустыри.

И так продолжалось сегодня, завтра и всю

ярмарку – до тех пор, пока не забивали «кузниц» досками, после чего до будущего лета замирали «Самокаты» с их трактирами и «мельницами», из которых самой крупной считалась Кузнецовская.

Я бывал на «мельницах», этих будто бы тайных игорных домах, бывал на «Самокате» у Милютина, во всех воровских и разбойничьих притонах. Я надевал старый картуз, высокие сапоги, а для защиты на всякий случай клал в карман кастет, но все обходилось обычно благополучно, кроме одного случая.

«Мельницы» были главным притоном всякой уголовщины, всевозможных воров и разбойников, до беглых каторжников включительно. Только здесь все они чувствовали себя свободными и равноправными, но всегда оказывались жертвами шулеров. Без «мельниц» они были бы как рыба без воды и воровали как будто для того, чтобы проигрывать.

Вор, украв, продавал краденое и, не успев поест, спешил на «мельницу». Здесь ему было свободно. Обходов в те времена не было, а старый, чуть не единственный местный сыщик Лудра не был опасен. Разбойники его не

стеснялись – свой человек.

В те времена на ярмарке был клуб и две «мельницы». Одна, Кузнецовская на «Самокатах», работавшая день и ночь, и денная в Канавине. Ярмарочный клуб, отделение какого-то нижегородского клуба, помещался в Караван-сараяе, близ «Самокатов». Направо у входа в клуб покупался у конторщика за пять рублей сезонный билет для посещения клуба, для чего не требовалось никаких записей или рекомендаций, и большинство билетов, конечно, выдавалось на первое попавшееся, выдуманное имя. Беглые каторжники и громилы, предъявляя купленный билет, входили в клуб, где можно было встретить и весьма почетных москвичей, любителей потешиться азартной игрой, а также и всех московских клубных, «мельничных» и пароходных шулеров.

В клубе играли преимущественно в макао. При входе у конторщика обменивались кредитные билеты на металлические марки, стоимостью от одного до десяти рублей каждая, которые служили для удобства ставок.

Кроме того, перед игроками лежали кучи

сотенных и четвертных билетов. Штраф начинался с часа ночи; в двадцать пять копеек и, прогрессируя, к рассвету доходил до тридцати шести рублей. Обыкновенно, когда к двум часам штраф начинался в два рубля, столы пустели, и оставалось лишь два или три крупных стола с тысячными оборотами. После двух часов публика, покинувшая зал клуба, толпилась в коридоре, стоваривалась, где продолжать игру без штрафа, и в большинстве случаев размещалась по номерам Караван-сарая, где квартировали крупные московские шулера. Конечно, здесь обыгрывали всех и наверняка на всевозможные лады. Крупные воры и беглые сибиряки предпочитали эту игру в номерах: в клубе играли в макао, которого они не понимали, а здесь метали штосс – единственная игра, которую они признавали. Штосс специально велся на «мельнице» в Канавине, существовавшей при гостинице в отдельном зале около бильярдной. Помещение этой «мельницы» из года в год арендовали московские игроки, и большей частью владельцем ее являлся один из завсегдатаев труппного «Крыма» на Цветном бульваре в

Москве, некто Александр Иванович, известный под прозвищем Крымский. Настоящей фамилии его никто не знал, да и вообще в этом мире до настоящих имен и фамилий никому не было дела. Крымский редко метал банк сам, а всегда держал долю у каждого банкомета, получая, кроме того, десять процентов с каждого снятого банка, так называемых «хозяйских» – плата за помещение и риск.

Во время нижегородской ярмарки московские «мельницы» и грачевские притоны пустовали, так как все крупное уезжало сюда, на «Макарьевскую». Оставались только жучки и портяночники, игравшие в стуколку и банковку, да в «три карты». Переулки, примыкавшие к Грачевке, – например, Соболев или, как его называли, Фортепьянный, – тоже пустовали, так как половина обитательниц этих домов со стеклянными выступами-фонарями в бельэтаж отправлялась на ярмарку, где происходил обмен товара подержанного на свежий. Этот рынок белых невольниц происходил и в первоклассном притоне – танцевалке Кузнецова и в других трущобах «Само-

катов». Товар московский менялся на провинциальный, тоже весьма и весьма подержанный, и тот и другой широко распространял заразу, так как не только медицинского, но и вообще никакого надзора не существовало. У Кузнецова вверху в громадном зале помещалась танцевалка, а внизу – каморки «кузницы» и «мельница». Чтобы пройти из танцевалки на «мельницу», надо было спуститься на двор, заросший после пожара 60-х годов кустарником и бурьяном, где когда-то на цепи сидел кузнецовский медведь Костолом. В этом бурьяне обирали пьяных. Рассказывали, что непокорных, неутомонных и неугодных посетителей отводили к мишке «побороться».

Одного слова «медведь» было достаточно, чтобы нежеланный гость никогда не появлялся в Кузнецовском притоне. «Мельницу» у Кузнецова содержал отставной солдат Селитро. Он дружил с московскими банкометами, грачевскими героями, известными только по своим кличкам: Архивариус, капитан Жевакин, Цапля, Пашка Шалунок, Ломонос, Раздиршин, Цирульник, Василий Темный – так называемая «московская рота».

Они пользовались особой привилегией держать банк, а Щучка, Фомушка, Глухой, Ша-лунок и Байстрюков, впоследствии московский сыщик, вместе с другими карманниками, а также душители-азиаты никогда не получали права метать банк и были вечными данниками банкومتов. Проиграется воришка-портяночник и просит банкомета:

– Дай трешку до завтра!

– Обойдешься. Лучше воровать будешь, злая рота!

«Мельничные» банкометы жили за счет понтирующих воров. Для профессионалов высшего полета главными доходами были московские купцы, вроде страстного игрока дисконтера Борисова, который каждую ночь проигрывал тысячи, приходя с карманами, полными далеко вперед обрезанных серий. Он это делал, желая из скаредности хоть выгадать три-четыре процента на обрезанных вперед купонах. На него устраивались облавы и, пользуясь тем, что вследствие своей копеечной жадности он сэкономил заплатить штраф в клубе и шел в номера, обыгрывали его наверняка. Но раз одного купца-си-

биряка и в самом клубе в две ярмарки обыгрывали на несколько сот тысяч. Обыгрывали его каждый раз под утро, когда шел высокий штраф и присутствовали только самые крупные игроки – все дольщики банка: «московская рота».

Приходил в клуб иногда под утро и парходчик Тихомиров, но ненадолго. Он вынимал пачку сотенных и, проиграв их, больше уж в карман не лазил, а шел куда-нибудь курить. Система игры его была такова. Он подходил к столу:

– Сколько в банке?

– Две тысячи.

Вынимал бумажник, полный денег, клал на стол:

– По банку!

Проиграв, молча платил: выиграв – так же молча брал деньги и уходил.

Никогда он не отыгрывался, никогда второй карты не ставил. Конечно, за это банкеты не любили его.

Крупная игра шла на ярмарке. Там было около кого погреть руки разбойному люду. Кроме карманников, вроде Пашки Рябчика,

рязанского Щучки, Байстрюкова и Соньки Блювштейн, знаменитой «Соньки Золотой ручки», съезжались сюда шулера и воры не только из Москвы, Одессы и Варшавы, но даже Восток слал своих.

Около полуночи из Кузнецовского притона я раз шел домой в Кунавино, попал в какой-то пустой переулок, где не было ни сторожей, ни собак. Ночь была безлунная, пасмурная. Я сел на приступок пустого ларя, чтобы немного отдохнуть, и увидел, что со стороны «Самокатов» шел человек, беззаботно мурлыкавший:

Я хочу вам рассказать, рассказать,
Как стрелочек шел гулять, шел гулять.

И сзади него какими-то кошачьими движениями бесшумно крались две темные фигуры в остроконечных шапках. Точь-в-точь таких людей я полчаса назад видел на «мельнице», где они сверкали кинжалами и черными глазищами из-под высоких остроконечных бараньих шапок.

Я сжал в кармане кастет и ждал, что будет дальше.

А высокий человек продолжал идти, тихо

мурлыкая. Вдруг одна из фигур выпрямилась, махнула над своей головой рукой – и почти в тот же миг веселый певец крикнул и рухнул навзничь во весь свой огромный рост. В два прыжка, как кошки на мышь, оба азиата прыгнули и, став на колени, припали к нему. В один миг я прыгнул на них сзади, схватил за шиворот, потрянул... Шапки свалились с бритых голов. Это облегчило задачу. Они не успели еще сделать ни одного движения, не издали ни одного звука, а я уже молотил их голова об голову, а потом бросил на землю.

Не издав ни звука, они лежали недвижимо, может быть притворяясь, уткнувшись в землю... Для безопасности я еще раз осмотрел их, оба были недвижимы. Человек, которого они хотели убить или ограбить, между тем приподнялся, начал озираться и что-то, весь дрожа, бормотал.

Я успокоил его, рассказал, как было дело, указал на недвижимых грабителей.

Он только тогда пришел в себя, встал и, подняв с земли остроконечную шапку, прохрипел чуть слышно:

– Это персы-душителы. Надо бы их добить.

Притворяются, мерзавцы, я их знаю.

Он снял со своей шеи петлю – довольно тонкий, длинный волосяной аркан, показал мне и стал меня благодарить за спасение. Аркан он свернул и сунул в карман, потом пощупал недвижимо лежащих персов и сказал:

– Кажется, готовы. А вернее, притворяются. Надо кинжалы взять. А то неравно, того и гляди, сзади пырнут.

Он вынул из ножен кинжал у одного, а я у другого.

– В канал бросим.

Мы шли между запертых ларей. Он опирался на мою руку, не раз принимался говорить, но тотчас хватался за горло и замолкал. Ни одного человека мы не встретили по дороге.

Вот и канал и узенькие лавы через него прямо к единственному освещенному зданию Караван-сарая. На середине он остановился, оперся на перила, бросил кинжал в воду. Я сделал то же.

– Ну, теперь ничего, отдышался, – прохрипел он. – Я, знаете, с «мельницы» шел. Выиграл тысячи две, но эти самые фансегары и вы-

следили. – И он опять принялся благодарить меня...

Я предложил проводить его домой.

– Я уже почти дома. Здесь, в Караван-сараяе, номер снял.

Из бокового кармана он вынул толстую пачку сотенных, развернул ее и подает мне.

– Возьмите, сколько вам нужно. Пожалуй-ста, не стесняйтесь. Ведь если бы не вы...

Я отказался наотрез...

У входа в Караван-сарай мы расстались по правилам «бывалых людей», т. е. не спросив друг у друга имени-отчества.

Я пошел по набережной к Главному дому, чтобы добраться до своей квартиры в Кунавинне, на противоположном конце ярмарки. Там тоже немало притонов было, но одиночных, а «Самокаты» – оптовый разврат.

Шел я и думал: «А где-то когда-то я его видел».

Потом на «мельнице» Кузнецова мне указали и самого атамана шайки душителей во время такой сцены.

Большая комната, несколько столов, около каждого – два стула, для банкмета и дольщи-

ка, помогавшего считать ставки. Вокруг каждого стола те же игроки, что и на Кунавинской «мельнице», перекочевавшие сюда на ночь, выстроились сплошной стеной в два-три ряда, причем задние делали ставки через головы передних, и многие из них, главным образом азиаты, видимо, не пользовались доверием. Только и слышны были возгласы банкомета:

– Ты сколько, Ахмет, ставишь?

– Какая твоя карта, Визирь?

– Дывинадцать рублей. Три сбоку.

Восьмерка выиграла, дольщик подвинул к Ахмету двенадцать рублей.

– Зачем дывинадцать? Мы ставили девятнадцать.

На спор выросла огромная фигура с ястребиным носом и черными глазами навывкате. Это и был гроза «мельницы», известный тогда всем атаман шайки душителей Али-Бер. Сразу, одним жестом, прекратил он спор.

С ним никто не вступал в пререкания, его слово было законом. Нечего и говорить, что он действовал всегда в пользу банкомета и получал за это долю.

Много лет ездил на ярмарку со своей шайкой Али-Бер. Полиция его не смела трогать, игорные дома платили ему дань. Слухи про него ходили самые зловещие, но взять его никто не решался. Боялись его грозного вида и кинжала в золотых ножнах, за ручку которого, сверкая глазами, он хватался при всяком удобном случае. Высшее начальство вообще старалось не касаться трущобного мира ярмарки. Избавил ярмарку от Али-Бера и его шайки пароходчик Тихомиров. Как-то ночью он зашел в кузнецовские номера, где играли в карты купцы, его приятели. Игра шла очень крупная. Неожиданно появился Али-Бер со своими двумя адъютантами и по обыкновению потребовал доли.

Произошел спор. Али-Бер наполовину вынул кинжал из ножен и угрожающе сверкал глазами.

Тихомиров, как всегда, не совсем трезвый и не игравший, спокойно подошел к нему и, не говоря ни слова, своим тяжелым кулачищем трахнул его по уху. Тот, как сноп, повалился на пол.

Поднялась суматоха. Все вскочили. Адъ-

ютанты выбежали было в дверь, но их схватила в коридоре прислуга. В конце концов их всех связали, явилась полиция, которая при обыске нашла в карманах у каждого из них, в том числе и у Али-Бера, пришедшего тем временем в себя, по волосяному аркану.

С тех пор душителее больше не появлялось на ярмарке, а Тихомиров продолжал свои гонки с «Самолетом».

Об этом разудалом купеческом капитане Тихомирове я слышал много лет спустя рассказ от одного из моих товарищей по сцене, провинциального актера К. В. Загорского.

В конце девяностых годов он жил в Москве, в Петровском-Разумовском, со своей семьей, часто бывал у меня, и мы вспоминали театральную старину.

Загорский был прирожденный москвич, друг детства Александра Николаевича Островского, а в дальнейшем товарищ по службе с ним в одном из дореформенных московских судов, не то в «совестном», не то в «управе благочиния». Он знал и кое-кого из тех людей, с которых знаменитый драматург брал характерные черты для своих типов. Как-то

раз спросил меня:

– Ты, конечно, видел «Бесприданницу»?

– И видел и не видел. Раз только из-за кулис кусочками смотрел. Не помню ни сюжета, ни действующих лиц, кроме одного Паратова, и то лишь потому, что его играл Далматов. В памяти у меня осталось несколько слов, которые Далматов положительно кричал, увлекаясь, но мне думается, что Паратов был моряк, судя по тем словам...

– Ну, ну, говори! – перебил меня Загорский.

– «Шуруй, шуруй. Сало в топку. Окорока в топку!» – вот и все, милый Костя, что я помню о «Бесприданнице».

– Ну вот, теперь ты поймешь, как создавал свои живые типы Александр Николаевич.

Однажды А. Н. Островский повез Загорского прокатиться по Волге. До Ярославля они ехали по железной дороге, а там сели на пароход «Велизарий».

Очень ярко Загорский изображал Тихомирова, богатыря военного вида, с усами, в капитанской с галуном фуражке, более похожего или на корнета Отлетаева, или на разбойничьего атамана, но никак не на купца.

– Тихомиров влетел на мостик, отмахнул капитана, стал на его место и принял командование в то время, когда пароход уже повернул на низ.

– До полного! – загредел его голос.

Впереди нас дымил «Самолет», только что отошедший от пристани.

Мы с Александром Николаевичем и с тремя почетными пассажирами сидели на мостике около лоцмана.

– Пару! – крикнул Тихомиров.

Капитан, в поддевке, седобородый, стоявший с ним рядом, вынул из кармана бутылку коньяку, серебряный, солидного размера стаканчик, налил полный, поднес командиру.

Тот выпил, крякнул и затем рывкнул в трубу:

– Полный ход!

Пароход содрогался и часто-часто барабанил лопастями колес.

Все ближе и ближе подходили к «Самолету». Уж можно было прочесть над колесами надпись золотыми буквами «Легкий», уж виден был рисунок на флаге, безумно весело сверкали глаза командира. Он весь был по-

глощен состязанием. «Легкий» тоже тропотил плечами, прибавляя ходу.

– Шуруй! – ревел наш командир в трубу.

Ни на кого и ни на что не обращал он внимания, кроме своего противника. Только два слова и чередовались: «Шуруй!» и «Пару!»

Да то и дело посверкивал серебряный стакан в его руке.

Публика начинала беспокоиться. Да и я тоже.

Островский, у которого тоже веселым спортсменским огнем горели глаза, успокаивал меня:

– Он всегда так! Сейчас перегоним, а там пойдем своим ходом. Ничего! Сейчас перегоним.

Публика толпилась на носу и прилипала к бортам.

Кто трусил, кто одобряюще покрикивал... У большинства поблескивал азарт в глазах, как на бегах, или скачках, или на петушиных боях.

– Сала! – мигнул «сам», и капитан, бывший лоцман, юркнул вниз.

– Сало спалили. Окорока, говорит, оста-

лись, – вернулся он наверх.

– Вали окорока в топку!

И опять команда в трубу:

– Шуруй! Наддай! Пару!

Через полчаса бешеного хода мы нагнали и стали обгонять «Легкого», с мостика которого капитан в белом кителе, окруженный пассажирами, и в том числе щеголихами-дамами, грозил нам кулаком и что-то кричал, должно быть, ругался.

Тихомиров выхватил у лоцмана бутылку, допил коньяк из горлышка, бросил ее в воду и крикнул в рупор:

– Будьте здоровы! – и опять в трубу: – Шуруй!..

А затем, когда наша корма была уже рядом с носом самолетского парохода, он, обнажив заднюю часть, показал ее побежденному сопернику.

Старый игрок, бывавший в дни молодости на Волге и в Нижнем, знавший лично и Али-Бера и Тихомирова, рассказал мне о конце последнего:

– Давно это было. Не могу наверное год назвать, но помню, что перед началом турецкой

войны 1877 года. В Ярославле мы втроем, своей компанией, сели на «Храброго». Это тогда был самый резвый самолетский пароход на верхнем плесе. Составили было стуюлку, да играть так и не пришлось. Почти одновременно с нами отвалил «Велизарий», и пошла гонка. Мы не уступали, и тот не сдавался. Какая уж тут игра! Все высыпали на палубу. Как всегда, начали о заклад биться два табачных фабриканта, Дунаев и Вахрамеев по тысяче заложили и деньги на руки рыбинскому Журавлеву отдали с тем, чтобы расчет был в Костроме. Дунаев держал на нашего «Храброго», а Вахрамеев – за «Велизария». Весь пароход играл. Кто на деньги, кто на бутылку вина, кто на пару чая.

Я сам поставил красненькую за «Велизария», уж очень он стал наседать, и потому я был уверен в своем выигрыше.

Подошли мы к Николо-Бабайкам. Вот вдали и монастырь показался.

«Велизарий» сильно приблизился. Можно было рассмотреть уже самого Тихомирова. То и дело он наклонялся к трубе, командовал в машинную.

И наш тоже то и дело кричал в кочегарку:
– Наддай! Наддай!

Все ближе и ближе подходил «Велизарий». Того и гляди, первым прибудет к пристани. Публика замерла.

Вдруг... Жутко вспомнить... Страшный взрыв...

И дальше он описал ужасную картину.

Середина парохода вся взлетела на воздух с капитанским мостиком. С носа и кормы народ начал бросаться в воду. Тонули. Мы спустили лодку для спасения утопавших. С берега явились на помощь рыбацкие лодки. По расписанию, через полчаса наш «Самолет» ушел.

– После, – закончил он свой рассказ, – я узнал, что на монастырском кладбище было похоронено около пятидесяти человек во главе с виновником общей и своей собственной гибели, командиром «Велизария».

Об Али-Бере, деятельность которого одним ударом пресек Тихомиров, восточные купцы на ярмарке в следующем после гибели капитана году рассказывали, что атаману душеителей, бежавшему от русских властей, на Восто-

ке публично отрубили голову. Так в один год покончили свои дни два ярких типа вертепов «Веселой козы».